

Если даже эти предположения неверны и личные мотивы не сыграли никакой роли в прекращении работы над «Арапом Петра Великого», вряд ли Пушкин смог бы в двух параллельных по времени создания произведениях развивать из общей исходной точки, но в разных направлениях одну и ту же коллизию. Следовало бы сделать выбор, и он, конечно, был бы не в пользу «Арапа Петра Великого». Любимым детищем Пушкина был «Евгений Онегин», он пользовался успехом у читателей, ожидавших с нетерпением выхода очередных глав. Напротив, прозаический роман должен был ассоциативно пробуждать тревожные мысли о грядущем увядании венца; он был начат во время творческой заминки и лишь в ожидании мощного поэтического взрыва. Вполне вероятно, что, еще к нему приступая, Пушкин допускал, что этот его первый беллетристический опыт никогда не будет завершен.

ственной Невы” и т. п. (Глава восьмая, XX — XXVII). Весьма возможно, что в это время Пушкин, будущий жених, именно поэтому помещает Татьяну в среду высшего общества, — столь высокого, что в нем не может быть места кокетству („его не терпит высший свет”, — Глава восьмая, XXXI). Я говорю о том самом кокетстве, в атмосфере которого поэт не без удовольствия провел свою холостяцкую жизнь. В 1829-м году, ведя переговоры о вступлении в брак с первой красавицей России, он желает убедить самого себя в том, что абсолютно идет вразрез с его прошлым шумным успехом у замужних женщин, т. е. в том, что женская верность в браке возможна» (Эмерсон К. Татьяна // Вестник Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 1996. Вып. 3/4. С. 38).

«ПОЧТОВАЯ ПРОЗА» ПУШКИНСКОЙ ГЕРОИНИ

В незавершённой повести «Гости съезжались на дачу...», два фрагмента которой Пушкин написал предположительно в августе — октябре 1828 года, мятущаяся светская дама, Зинаида Вольская, чувствуя охлаждение Минского, вступившего с нею в связь лишь для того, чтобы увидеть «лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц» (Акад. VIII, 40), пишет ему письмо. Вольская «упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чём; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях — и назначала ему вечером свидание в своей ложе» (Акад. VIII, 41). Помимо этого пересказа письма из него цитируются несколько начальных строк. В рукописи они имеют две редакции: написав первоначальный текст, Пушкин внёс в него ряд мелких, но весьма существенных изменений.

Сравним обе редакции, выделив курсивом слова и фразы, подвергшиеся правке, и расставив отсутствующие в черновике знаки препинания:

I. *«Я не успела тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоём присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь¹ снова меня преследуют — Твои софизмы не убеждают меня, но заставляют молчать; в этом видно твоё обыкновенное превосходство надо мною — но это² не довольно для счастья, для спокойствия моего сердца — »* (ПД 838, л. 107).

¹ В рукописи после этого слова поставлена запятая

² Слово «это» вписано, то есть первоначально отсутствовало, на какой-то стадии позднее оно было заменено на «его», которое тоже вычеркнуто

П. «*Не умела* тебе высказать всё, что имею на сердце; в твоём присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь *так живо* меня преследуют — Твои софизмы *не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать; это доказывает твоё всегдашнее превосходство* надо мною — но не довольно для счастья, для спокойствия моего сердца — » (ПД 838, л. 107; Акад. VIII, 41).

Все варианты рукописи были опубликованы ещё до войны, в 1940 году (Акад. VIII, 539), но прошло четыре десятилетия, прежде чем на них обратил внимание и провёл стилистический анализ американский литературовед Пол Дебрецени в своей монографии о художественной прозе Пушкина.³ По его наблюдениям, в этом письме сквозит желание Зинаиды произвести на Минского впечатление, прибегая к слогу «более книжному», нежели можно от неё ожидать, зная о полученном ею беспорядочном образовании и воспитании. Фраза: «это доказывает твоё всегдашнее превосходство» — не естественна, по мнению учёного, под пером светской ветреницы. Пушкин, продолжает он, намеренно добивался эффекта «неуклюжего» (awkward) слога, что видно из правки, в результате которой первоначальная «совершенно ясная и естественная фраза»: «Твои софизмы не убеждают меня» — превращается в малопривлекательную и едва ли не бессмысленную: «Твои софизмы не убеждают моих подозрений». «Создаётся впечатление,— заключает П. Дебрецени,— что на всевозможных светских приёмах Зинаида общалась и беседовала с членами интеллектуальных кружков того времени, например, с „архивными юношами” или „любомудрами”, и от них усвоила какие-то книжные фразы, не понимая впрочем их смысла».

Воздадим должное американскому профессору за обострённую чуткость к очень тонким стилистическим оттенкам, тем более замечательную, что русский язык для него не родной, а выученный; однако позволим себе не согласиться вполне с его

³ *Debreczeny P. The Other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin's Prose Fiction. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press, 1983. P. 45–46. Рус. пер.: Дебрецени П. Блудная дочь: Анализ художественной прозы Пушкина. СПб., 1995. С. 55.*

выводами и прежде всего с мыслью о том, что в светском общении с Зинаидою Вольской «архивные юноши» и «любомудры» могли прибегать к книжному языку (если вообще она сталкивалась с этим чисто московским явлением, поскольку весь фон, на котором показана Вольская, исключительно петербургский). Из того, что известно о её воспитании, образе жизни и мыслей в замужестве, можно заключить, что она вряд ли общалась с теми молодыми людьми, кто был способен вести «интеллектуальные» беседы. «Бытовой тип», по выражению Ю. М. Лотмана, «архивного юноши», к которому Пушкин относился с большой иронией, значительно отличался от «интеллектуального», склонного к занятиям литературой и философией. Этот «бытовой тип» Пушкин представил в «Отрывке из неизданных записок дамы» («Рославлеве») в образе брата мемуаристки: он «принадлежал сословию тогдашних франтов», «считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцую и повесничая» (Акад. VIII, 149), а уйдя на войну, слал сестре «ничего не значущие письма», «наполненные шутками, умными и плохими, вопросами о Полине (его невесте.— *В. Р.*), пошлыми уверениями в любви и проч.», что создавало у Полины мнение о нём как о «препустом человеке» (Акад. VIII, 156). По этому поводу мемуаристка замечает: «Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Такое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем» (Акад. VIII, 156). Так должны были бы относиться «архивные юноши» и к Зинаиде Вольской.

Можно возразить, что в псевдо-мемуарах речь идёт о 1811–1812 годах, когда ещё не было «любомудров», в то время как действие повести «Гости съезжались на дачу...» происходит во второй половине 1820-х. Однако всей своей проблематикой и многими намёками воспоминания дамы спроецированы на московскую жизнь 1830-х годов, и её объяснение манеры брата держаться с женщинами относится не только (и, может быть,

не столько) к прошлому, но в равной мере и к настоящему. В заключительном предложении слышен уже голос женщины, до которой, после самых первых тирад ранних английских феминисток и героинь мадам де Сталь, дошли уже и слухи о Жорж Санд. Наконец, если даже «любомудры» и вели себя с женщинами в свете отлично от «бытового типа», то уж, конечно, не с Зинаидою Вольскою и даже не в её присутствии они говорили бы книжным языком.

Впрочем, и предложенное П. Дебрецени объяснение, и все приведённые выше контраргументы не выходят за рамки догадок и субъективных в той или иной мере толкований. Жизнь, отражаемая в литературном произведении, много богаче, разнообразнее и запутаннее схем, которыми по необходимости ограничиваются подобные реконструкции, а приподнять хотя бы уголок завесы, скрывающей от нас художественные намерения Пушкина, может лишь анализ рукописи, коль скоро набросок остался в черновике и, следовательно, печатного текста, выражающего авторскую волю, не предполагалось.

Автограф не даёт однозначного, бесспорного подтверждения мысли о том, что «неуклюжесть» письму Зинаиды Вольской была придана умышленно, хотя и не опровергает её. Нельзя исключить вероятности того, что правка была начата с целью развести на большее друг от друга расстояние два находившихся почти рядом местоимения «меня», а в итоге, как иногда случилось у Пушкина в черновой работе, возник вариант менее вразумительный и стилистически тяжелее первоначального. Но каковы бы ни были исходные мотивы правки, результат, даже если он был непредумышленным, удовлетворил Пушкина, и он решил на нём остановиться — во всяком случае на том этапе. Об этом рукопись свидетельствует недвусмысленно — теми изменениями, которые вносились в фразу, вводящую письмо.

В самом первом своём варианте эта фраза была малозначашей, чисто служебной, вспомогательной: развернув письмо. Минский «стал читать следующее» (ПД 838, л. 107; Акад. VIII, 539). Зачеркнув эти слова, Пушкин написал новый вариант, который, в отличие от предыдущего, нёс в себе большой объём информации: «Письмо было написано, разумеется, по-французски и заключало следующее» (Там же).

Чтобы понять смысл этой правки, необходимо вспомнить хорошо известные и многократно цитированные (в том числе и П. Дебрецени⁴) замечания Пушкина о неразвитости русского «метафизического языка», под которым он разумел язык, способный выражать сложные и отвлечённые мысли, а также тонкие оттенки чувств. «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы,— писал он П. А. Вяземскому 13 июля 1825 года по поводу его заметки «О „Разборе трёх статей, помещённых в Записках Наполеона”, написанном Денисом Давыдовым».— Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас ещё в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы — то есть языка мыслей)» (Акад. XIII, 187). Пушкин и сам об этом заявил «вслух» немного позже в том же 1825 году в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»: «... просвещение века требует пищи для размышления <...>; но учёность, политика и философия ещё по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так ещё мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны» (Акад. XI, 34). Но не только наука, политика, философия и даже переписка не имели, по мнению Пушкина, развитого в нужном объёме языка, не было, считал он, и языка чувств, так что выражать их приходилось на французском. Вспомним, что в третьей главе «Евгения Онегина» приведён не подлинный текст письма Татьяны, а его

Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный,

который автор выполнил,

Родной земли спасая честь.

⁴ *Debreczeny P. Op. cit. P. 13; Дебрецени П. Указ. соч. С. 21.*

По этому поводу Пушкин объяснял:

Она по-русски плохо знала,
Журналов ваших не читала
И выражалась с трудом
На языке своём родном.⁵
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялась по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

Не умела писать по-русски и вымышленная Пушкиным мемуаристка, о которой говорилось выше: «Отрывок из неизданных записок дамы» был напечатан с пометой в конце: «С французского».

В этом свете становится понятно, что естественнее всего Зинаиде Вольский было бы писать Минскому по-французски; переполнявшим её бурным эмоциям не могло найтись в русском языке адекватных выражений и синтаксических конструкций. Так, видимо, рассуждал Пушкин, меняя первый вариант вступительной фразы на второй. Французский язык был приспособлен облекать то, что хотела сказать в смятении чувств своему любовнику Зинаида Вольская, в изящные и гладкие формулы, и поэтому в первом варианте письма слова должны были бы течь легко и свободно. Почему же в таком случае уже здесь явственно ощущается некоторая искусственность и натянутость слога? Дело в том, что, как отметил покойный академик М. П. Алексеев, «французский язык, живший в русских устах, приобретал постепенно всё более архаический характер, как бы застывая в чужеродном для него окружении. Уже французский язык Пушкина или Вяземского, основанный главным образом на классической французской литературной речи XVIII века, имел некоторые архаические черты в сравнении с

тем, на котором говорили и писали в то время в Париже».⁶ Имитируя по-русски французский эпистолярный слог и, наверное, опираясь мысленно на какие-то его формулы, Пушкин невольно воспроизвёл и те его черты, которыми он отличался в употреблении русских людей.

Выбор французского языка для письма Зинаиды Вольской должен был поставить перед Пушкиным вопрос, с которым он уже столкнулся в третьей главе «Евгения Онегина»: как объяснить читателю, почему письмо на французском языке приводится в повести по-русски. Представить его опять переводом (а ничего другого невозможно, кажется, было придумать) значило повторить всё, что уже было сказано стихами в связи с письмом Татьяны. Поэтому Пушкин снимает во вводной фразе указание на французский язык, и она сокращается до трёх слов:

«Письмо заключало следующее». Эта формулировка настраивала бы читателя на то, что его познакомят с полным текстом письма, в то время как в большей своей части оно было пересказано, а цитировались дословно, напомним, лишь первые два предложения. Чтобы, по-видимому, устранить это несоответствие, Пушкин создаёт новый, последний в черновике вариант вступительной фразы: «Письмо начиналось таким образом» (ПД 838, л. 107; Акад. VIII, 41, 539). Свободного места перед письмом уже почти не оставалось, и фраза вписывается по пустотам, обтекая зачёркнутое.

Если творческая мысль Пушкина развивалась на самом деле так, как она здесь предположительно реконструирована, то равновесие между двумя гипотезами об исходных мотивах правки нарушается и преимущество получает намеренное утяжеление слога во второй редакции письма. Действительно, если в русском языке ещё не были выработаны лексика, фразеология и синтаксис для передачи сложных, варьирующихся психологических состояний, то письмо Зинаиды Вольской должно было оставить впечатление, что автору плохо давалась рус-

⁵ Речь идёт, разумеется, о письменном языке. См. подробно: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 2-е изд. Л., 1983. С. 221–224.

⁶ Алексеев М. П. Письма И. С. Тургенева // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1982. Т. 1. С. 55.

ская «почтовая проза». Пушкин достигает этого несколькими штрихами.

Таким образом, для объяснения стилистической правки в рассматриваемом случае вряд ли есть необходимость вызывать тени «архивных юношей» и «любомудров». Правда, остаётся без ответа вопрос, почему, не владея письменной русской речью, героиня именно к ней прибегает в самый, казалось бы, для себя неподходящий момент, когда её душа жаждет излиться и не может быть расположена к языковым экспериментам. Следует, однако, вспомнить, что мы имеем дело с черновым наброском, где нельзя искать законченной мысли и исполненных творческих намерений. Какой бы вид этот фрагмент приобрёл в завершённом тексте, если бы таковой был создан, знать нам не дано, потому что не знал этого и сам автор, бросивший работать над повестью.

К ДАТИРОВКЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ОБВАЛ»

Пушкин сам неизменно датировал «Обвал» 1829-м годом: эта цифра написана рядом с заглавием в составленном между 5 и 14 сентября 1831 г. списке произведений (ПД 716),¹ отобранных для третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» (1832); в цензурной рукописи она поставлена под текстом (ПД 420, л. 5; Акад. III, 793); соответственно напечатан «Обвал» под номером «II» в отделе «1829». Единственный автограф (ПД 115) имеет две хронологические пометы: «29 Окт.<ября>» — после третьей строфы, «30» — после пятой, в самом конце (Акад. III, 792-793). На этих основаниях возникла датировка, согласно которой стихотворение было сочинено 29 и 30 октября 1829 г. Установленная Н. О. Лернером,² она была принята редактором томов стихотворений М. А. Цявловским в издании «Красной нивы» и последующих от него зависевших;³ с нею был согласен Б. В. Томашевский, повторивший ее в своем знаменитом однотомнике,⁴ а затем в «малом» академиче-

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. М.: Воскресенье, 1997. Т. 17. Рукою Пушкина: Выписки и записи разного содержания; официальные документы. — 2-е изд., перераб. / Отв. ред. Я. Л. Левкович, С. А. Фомичев. С. 197.

² Пушкин А. С. [Собр. соч.] / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1911. Т. 5. С. XXXVII.

³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 327 (Прил. к журн. «Красная нива» на 1930 г.). Комментарий в издании «Academia»: «Печатается по цензурной рукописи „Стихотворений Александра Пушкина” 1832, ч. III, где датировано 1829 годом. В черновом автографе даты: „29 окт.” и „30”, т.е. „30 октября”» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под ред. М. А. Цявловского. М.; Л.: Academia, 1936. Т. 1. С. 771).

⁴ Пушкин А. С. Соч. / Ред., биогр. очерк и примеч. Б. Томашевского; Вступ. ст. В. Десницкого. Л., 1935. С. 956.